

Д. Оруэлл

«1984» и эссе разных лет

Роман и художественная публицистика

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.8
ББК 84-4
Д11

Д11 **Д. Оруэлл**
«1984» и эссе разных лет: Роман и художественная публицистика / Д. Оруэлл – М.: Книга по Требованию, 2013. – 380 с.

ISBN 978-5-458-23788-8

Оруэлл Джордж Orwell, George «1984» и эссе разных лет. Роман и художественная публицистика. Пер. с англ., сост. В. С. Муравьев; предисл. А. М. Зверева; ком-мент. В. А. Чаликовой. М.: «Прогресс», 1989.

ISBN 978-5-458-23788-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

О СТАРШЕМ БРАТЕ И ЧРЕВЕ КИТА

Набросок к портрету Оруэлла

У каждой писательской биографии свой узор, своя логика. Эту логику не всякий раз легко почувствовать, а тем более — обнаружить за нею высший смысл, который диктует время. Но бывает, что старая истина, говорящая о невозможности понять человека вне его эпохи, становится неопровержимой не в отвлеченном, а в самом буквальном значении слова. Судьба Джорджа Оруэлла — пример как раз такого рода.

Даже и сегодня, когда об Оруэлле написано куда больше, чем написал он сам, многое в нем кажется загадочным. Поражают резкие изломы его литературного пути. Бросаются в глаза крайности его суждений — и в молодые годы, и в последние. Сами его книги словно принадлежат разным людям: одни, подписанные еще настоящим его именем Эрик Блэйр, легко вписываются в контекст доминирующих идей и веяний 30-х годов, другие, печатавшиеся под псевдонимом Джордж Оруэлл, принятым в 1933 году, противостоят подобным веяниям и идеям непримиримо.

Какая-то глубокая трещина надвое раскалывает этот творческий мир, и трудно поверить, что при всех внутренних антагонизмах он един. Поступательность, эволюция — слова, по первому впечатлению вовсе не применимые к Оруэллу; нужны другие — катаклизм, взрыв. Их можно заменить не столь энергичными, сказав, например, о переломе или переоценке, однако суть не изменится. Все равно останется впечатление, что перед нами писатель, который за отпущенный ему краткий срок прожил в литературе две очень несхожие жизни.

В критике, касавшейся Оруэлла, эта мысль варьируется на многие лады, от бесконечных повторений приобретая вид аксиомы. Но само собой разумеющаяся бесспорность не всегда оказывается порукой истины. И с Оруэллом на поверку дело обстояло гораздо сложнее, чем представляется невнимательным комментаторам, спешащим решительно все объяснить

переломом в его взглядах, но путающимся в истолковании причин этой метаморфозы.

Действительно, был в жизни Оруэлла момент, когда он испытал глубокий духовный кризис, даже потрясение, заставившее отказаться от многого, во что твердо верил юный Эрик Блэйр. Тем немногим, кто заметил писателя еще в 30-е годы, было бы крайне сложно угадать, какие произведения выйдут из-под его пера в 40-е. Но, констатируя это, не упустим из виду главного — тут действовали не столько субъективные факторы, а прежде всего давала себя почувствовать драма революционных идей, разыгравшаяся на исходе тех же 30-х. Для Оруэлла она обернулась тяжким личным испытанием. Из этого испытания родились книги, обеспечившие их автору законное место в культуре XX столетия. Это, впрочем, выяснилось лишь годы спустя после его смерти.

* * *

Пять лет назад на Западе отметили литературное событие особого рода: не памятную писательскую дату, не годовщину появления знаменитой книги, а юбилей заглавия. Случай, кажется, уникальный; наверняка таким он и останется. Празднества всегда приурочивают к внешним поводам, а здесь повод дала просто хронология. Свой самый известный роман Оруэлл назвал «1984». Вряд ли он думал, что эти цифры наполнятся неким магическим значением. Время показало, что произошло именно так.

Юбилей отмечали широко. Была сделана экранизация (уж, кстати, перенесли на экран и другую его прославленную книгу — «Скотный двор», выбрав для этого, видимо, единственную возможную форму — мультипликацию). Прошло несколько международных симпозиумов. Появилось десятка полтора сочинений очень разного содержания и направленности от мемуаров до капитальных политологических штудий, от безоговорочных славословий до сокрушающей критики или по меньшей мере насмешливых укоризн несостоятельному пророку.

И к этим сочинениям, и вообще к бурной активности, ознаменовавшей «год Оруэлла», всяк волен относиться по-своему. Однако надо признать неоспоримое: произведения английского писателя затронули исключительно чувствительную струну общественного самосознания. Поэтому их резонанс оказался долгим, провоцируя дискуссии, непосредственно касающиеся труднейших вопросов, которые поставила история нашего столетия. Этого не скажешь о многих книгах, объективно обладающих более высоким художественным достоинством, во всяком случае, бóльшим престижем, подразумевая собственно эстетический аспект.

Любопытно, что заглавие романа, вызывающего по сей день столь разноречивые отклики, было найдено Оруэллом по чистому случаю. Рукопись, законченная осенью 1948 года, оставалась безымянной — не подошел ни один из вариантов названия. На

последней странице стояла дата, когда Оруэлл завершил авторскую правку. Он переставил в этой дате две последние цифры.

Через полтора года он умер. Ему было всего сорок шесть лет.

Никто, правда, не назовет недолгую его жизнь скудной событиями.

О собственной юности Оруэлл почти никогда не писал, и понадобились усилия профессиональных биографов, чтобы установить хотя бы основные факты. Пожалуй, самым важным из них был тот, что будущий писатель вырос в Бенгалии, тогда еще остававшейся одной из британских колоний. Где-то поблизости провел свою пору детства и Киплинг, к которому Оруэлл неизменно испытывал сложное чувство восхищения, смешанного с протестом. Восхищал блистательный художественный дар Киплинга, открывшего Индию для современной европейской литературы. Этими киплинговскими уроками Оруэллу не дано было воспользоваться; его единственная книга на колониальном материале, роман «Дни в Бирме» (1936), оказалась неудачной. Но зато в отличие от Киплинга у него не возникало иллюзий ни насчет истинной роли англичан в колониях, ни относительно будущего, которое уготовано Британской империи.

Еще ребенком он видел слишком много несправедливости и жестокости, слишком кричащую нищету и горе, чтобы не понять: все это вскоре отойдет к колонизаторам вспышками гнева, в котором им некого будет винить, кроме самих себя. Извечный английский эгоцентризм, самодовольство и спесь станут постоянной мишенью его горькой иронии — не оттого ли, что такими прочными оказались у Оруэлла воспоминания самых ранних лет.

В его огромном публицистическом наследии английская массовая психология, английский характер и национальный тип стали одной из важнейших тем. Невозможно с однозначностью говорить об отношении Оруэлла к соотечественникам и к родной стране — оно было многогранным, к тому же меняясь с годами. Тут очень пристрастный взгляд: и в неприятии, и в похвале. Неприятия, кажется, больше, но опасно довериться первому впечатлению. Оруэлл был законченно английским писателем, впитавшим самые устойчивые из британских традиций — трезвость мысли, чурающейся слишком отважных воспарений, уважение к достоинству личности, к правам и порядку, суховатый рационализм, безошибочное чувство нелепого и смешного. Особый, чисто английский склад ума различим у него повсюду: от литературных суждений до оценок сложнейших политических конфликтов трудного времени, в которое ему выпало жить.

Однако и самые яростные противники Оруэлла не попрекнули бы его казенным патриотизмом. Сознвая свою кровную связь с английскими духовными традициями, он не менее отчетливо сознавал и свою чужеродность им, когда дело касалось столь серьезных и ответственных категорий, как гражданская активность, ангажированность, равнодушие к коллизиям, развешивающимся в мире, сознание причастности к его тревогам.

Разлад с Англией, колкости, а то и резкости Оруэлла в его эссе об английских понятиях и поверьях — все это имело одну и ту же причину. Оруэлл категорически не принимал на редкость стойких иллюзий, будто Британские острова — некий замкнутый мирок, куда не доносятся холодные ветры истории, а стало быть, для обитателей в этом мирке вполне естественно созерцать происходящее за его пределами с пассивностью и, уж во всяком случае, с сознанием собственной надежной защищенности от трагедий, остающихся уделом других. Такого рода успокоительные самообманы и весь круг ценностей британского обывателя, почитающего буржуазные нормы отношений незыблемыми, претили Оруэллу. Иным был его личный опыт. Его идейное воспитание тоже было иным: уже подростком он штудировал книги Уильяма Морриса и других социалистических мыслителей, восторженно читал Уайльда, преклонялся перед Свифтом, а бунтарские настроения, питавшиеся главным образом ненавистью к английскому лицемерию и ханжеству, крепили у Оруэлла год от года.

* * *

Они щедро выплеснулись в книгах, которыми он начинал. Мало кто оценил эти книги при их появлении. Оруэллу непросто было выделиться среди тогдашних дебютантов. Время было такое, что вера в близкое всемирное торжество социализма, сопровождавшаяся решительным неприятием всего буржуазного и мещанского, считалась у молодых интеллектуалов в порядке вещей; Оруэлл разделял ее едва ли не целиком. Он описывал гнетущую бедность рабочих кварталов в промышленных городах английского Севера («Дорога на Уиган-Пирс», 1937) и убожество помыслов, устремлений, всего круга жизни благополучного «среднего сословия», с которым никак не поладит герой-мечтатель, вдохновляющийся расплывчатыми высокими идеалами («Пусть цветет аспидистра», 1936). Его романы — и оба упомянутых, и «Дочь священника» (1935) — не вызвали большого интереса, причем их более чем скромная литературная репутация не изменилась даже после грандиозного успеха «1984».

Сам Оруэлл готов был согласиться с критиками, писавшими, что ему недостает истинного художественного воображения, и отметившими непростительные небрежности стиля. О себе он неизменно отзывался как об «умелом памфлетисте», не более. Но ведь памфлетистом называл себя и Свифт, его литературный наставник.

Понадобился «Скотный двор» (1945), чтобы, вспомнив свифтовскую «Сказку бочки», постепенно опознали творческую генеалогию Оруэлла. А для того, чтобы написать эту притчу, нужен был социальный и духовный опыт, заставивший очень серьезно задуматься над тем, что Оруэлл в молодости считал бесспорным. Этот опыт копился, отлеживался в его сознании годами, не расшатывая убеждений, которые были для Оруэлла фундаментальными, однако скорректировав их очень заметно.

Настолько заметно, что на этой почве и возникла уверенность в существовании «двух Оруэллов»: до перелома, обозначенного книгой «Памяти Каталонии» (1940), и после.

Эти суждения — при желании их было легко перевести на язык политических ярлыков и обвинений в ренегатстве — чрезвычайно затруднили понимание смысла того, что написано Оруэллом, и урока, который таит в себе его судьба. У нас его имя десятки лет попросту не упоминалось, а уж если упоминалось, то с непременными комментариями вполне определенного характера: антикоммунист, пасквильянт и т. п. На Западе отсылки к Оруэллу стали дежурными, когда предпринималась очередная попытка скомпрометировать идеи революции и переустройства мира на социалистических началах. Мифы, искажающие наследие Оруэлла до неузнаваемости, росли и по ту, и по эту сторону идеологических рубежей. Пробриться через эти мифы к истине об Оруэлле непросто.

Но сделать это необходимо — не только ради запоздалого торжества истины, а ради непредвзятого обсуждения волновавших Оруэлла проблем, которые по-прежнему актуальны донельзя. И начать надо с того, что вопреки кризису, многое переменившему во взглядах Оруэлла к концу 30-х годов, он представлял собой удивительно цельную личность. Над ним никогда не имела власти политическая конъюнктура, он был не из тех, кто совершает замысловатые идейные маршруты, отдавшись переменчивым общественным ветрам.

Существовали слова, обладавшие для него смыслом безусловным и не подверженным никаким корректировкам, — слово «справедливость», например, или слово «социализм». Можно спорить с тем, как он толковал эти понятия, но не было случая, чтобы Оруэлл бестрепетно сжег то, чему вчера поклонялся, да еще, как водится, стал подыскивать себе оправдания в ссылках на изменившуюся ситуацию, на относительность любых концепций, на невозможность абсолютов. Подобный релятивизм и Оруэлл — планеты несовместные.

Знавших его всегда поражала твердая последовательность мысли Оруэлла и присущее ему органическое неприятие недоговорок. В свое время из-за этого неумения прилаживаться ему пришлось оставить должность чиновника английской колониальной администрации в Бирме. Он уехал в колонии, едва закончив образование, и, по свидетельствам мемуаристов, явно выделялся среди сослуживцев в лучшую сторону. Но, исповедуя социалистическую идею, нельзя было занимать пост в колониальной полиции. Так он чувствовал. И оставил должность, смутно представляя, что его ждет впереди.

В Париже, а потом в Лондоне он нищенствовал, перебивался случайно подвернувшейся работой продавца в книжной лавке, школьного учителя. Меж тем в кармане у него лежал диплом Итона, одного из самых привилегированных колледжей, открывавшего своим питомцам заманчивые перспективы.

Он так и остался неуживчивым, не в меру щепетильным

человеком до самого конца. После Испании Оруэлл порвал с издателем, печатавшим все его прежние книги. Издатель, державшийся левых взглядов, требовал убрать из фронтовых дневников Оруэлла записи о беззакониях, происходивших в лагере Республики: зачем этого касаться, когда на пороге решающая схватка с фашизмом? Однако напрасно было говорить Оруэллу, будто дело, за которое он дрался под Барселоной, выиграет от умолчаний и насилий над истиной. Эту логику он не признавал изначально, как бы искусно ее ни обосновывали.

* * *

Испанская война стала для Оруэлла, как и для всех прошедших через это испытание, кульминацией жизни и проверкой идей. Не каждый выдерживал такую проверку: некоторые сломались, как Джон Дос Пассос, принявшийся каяться в былом радикализме, другие предпочли вспоминать те непростые годы выборочно, чтобы не пострадал окружавший их романтический ореол. С Оруэллом получилось по-другому. В Испанию он отправился, потому что стоял на позициях демократического социализма. Как солдат он честно выполнил свой долг, ни на минуту не усомнившись в том, что решение сражаться за Республику было единственно правильным. Однако реальность, представшая ему на испанских фронтах, была травмирующей. След этой травмы протянется через все, что было написано Оруэллом после Испании.

Из воевавших за Республику писателей он первым сказал об этой войне горькую правду. Он был убежден, что Республика потерпела поражение не только из-за военного превосходства франкистов, поддерживаемых Гитлером и Муссолини,— идейная нетерпимость, чистки и расправы над теми сторонниками Республики, кто имел смелость отстаивать независимые политические мнения, нанесли великому делу непоправимый урон. С этими мыслями Оруэлла невозможно спорить. За ними стоит опыт слишком реальный и жестокий.

Другое дело, что формулировались эти мысли человеком, который находился в состоянии, близком к шоку. И оттого в них есть своя тенденциозность. Она чувствуется уже в том, что высший смысл войны в Испании, ставшей прологом мировой антифашистской войны, у Оруэлла как-то теряется, отходит на второй план, оказывается заслоненным горькими фронтовыми буднями — бессмысленной гибелью тысяч солдат, которым давали заведомо невыполнимые задания, маниакальной подозрительностью, самосудами или расстрелами без суда. О той же пристрастности Оруэлла говорит и собственная его подозрительность относительно роли, которую в испанских событиях играл Советский Союз, будто бы старавшийся не допустить подлинно народной революции, сдержат и обуздать слишком высоко взметнувшуюся демократическую волну. Бесконечно далекий от троцкистов, Оруэлл здесь, по сути, повторял их утверждения, странно звучащие в его устах.

В частностях он, очевидно, несправедлив, и нет нужды всерьез его опровергать. А сам итог испанской главы его биографии поучителен и по-своему закономерен. Оруэлл отправился в Испанию как убежденный социалист, не вняв предостережениям тех, кто наподобие американского писателя Генри Миллера советовал ему остаться в стороне и не подвергать себя риску слишком болезненного разочарования. Когда через полтора года, в июне 1937-го, он, сумев избежать более чем вероятного ареста, вернулся домой долечивать горловое ранение, позиции его остались прежними. Но в той формуле, которой Оруэлл всегда пользовался, определяя свое кредо, — «демократический социализм», — переместились акценты. Ключевым теперь стало первое слово. Потому что в Испании Оруэлл впервые и с наглядностью удостоверился, что возможен совсем иной социализм — по сталинской модели. И этот уродливый социализм, казнящий революцию во имя диктатуры вождей и подчиненной им бюрократии, с той поры сделался для Оруэлла главным врагом, чей облик он умел различать безошибочно, не обращая внимания на лозунги и на знамена.

* * *

Нужно хотя бы в общих чертах представить себе тогдашнюю идейную ситуацию на Западе, чтобы стало ясно, какой смелостью должен был обладать Оруэлл, отстаивая свои принципы. Фактически он подвергал себя изоляции. Сетования на нее не раз прорываются в его письмах.

Было в нем что-то донкихотское, проявлявшееся в бескомпромиссности мнений, которая тогда для многих выглядела наивной. Оруэлл не желал считаться с резонами политической тактики. Оттого конфликты с окружающими завязывались у него на каждом шагу. Он оказался неудобным собеседником, который заставлял додумывать до конца многое, о чем вообще не хотели думать, и бередил сознание, убаюканное легендами или доверчивостью к лозунгам — не так уж важно, каким именно. Сила Оруэлла как раз и была в том, что, презрев такое неудобство, он упрямо заводил речь о явлениях, которые предпочитали как бы не замечать. Это же свойство сулило Оруэллу нелегкую участь оратора, которого никто не хочет выслушать с должным вниманием, а тем более с сочувствием.

Консерваторов он не устраивал тем, что по-прежнему стойко верил в социалистический идеал, с ним одним связывая возможность гуманного будущего, когда исчезнут и диктатуры, и колониальный гнет, и общественная несправедливость. Разумеется, его воззрения оставались типичным «социализмом чувства», в теоретическом отношении слабым, а то и просто несостоятельным. Но в выношенности и искренности этих воззрений Оруэлл не дал повода усомниться никому.

Для либералов он был докучливым критиком и явным чужаком, поскольку не выносил их прекраснодушного пустосло-

вия. Очень характерна в этом отношении его полемика с Гербертом Уэллсом. Личность старой формации, Уэллс, подобно большинству своих единомышленников, не хотел осознать, как глубоко изменился мир в первые десятилетия XX века. Фашизм, политика геноцида, тоталитарное государство, массовая военная истерия — для него все это было лишь каким-то временным помрачением умов, неспособным, впрочем, серьезно воздействовать на законы прогресса, ведущего от вершины к вершине. Отдавая должное духовному влиянию Уэллса, в юности испытанному им самим, Оруэлл не мог, однако, принять этого олимпийского спокойствия перед лицом грозных опасностей, угрожающих человечеству. Контурь описанного в «1984» мира, где тоталитаризм всевластен, а человек без остатка подчинен безумной и лицемерной идеологии, открылись ему еще на исходе 30-х годов; близкое будущее подтвердило, насколько небеспочвенной была его тревога. Потом, когда был напечатан «1984», либералы не могли ему простить, что местом действия избрана не какая-нибудь полуварварская восточная страна, а Лондон, ставший столицей Океании — одной из трех сверхдержав, ведущих бесконечные войны за переделку границ.

Но особенно яростно спорил Оруэлл с теми, кто почитал себя марксистами или, во всяком случае, левыми. Причем этот спор выходил далеко за рамки частных, потому что его предметом были такие категории, как свобода, право, демократия, логика истории и ее уроки для следующих поколений. Главное расхождение между Оруэллом и его противниками из левого лагеря заключалось в истолковании диалектики революции и смысла ее последующих метаморфоз. Отношение к тому, что на Западе тогда было принято называть «советским экспериментом», разделило Оруэлла и английских социалистов предвоенного, да и послевоенного, времени настолько принципиально, что ни о каком примирении не могло идти речи.

Многое в этом споре, не утихавшем десять с лишним лет, следует объяснить временем, предопределившим и остроту полемики, и ее крайности — с обеих сторон. Оруэлл никогда не был в СССР и должен был полагаться только на чужие свидетельства, чаще всего лишенные необходимой объективности, да на собственный аналитический дар. Трагедию сталинизма он считал необратимой катастрофой Октября. Согласиться с этим невозможно и сегодня, когда мы представляем себе масштабы и последствия трагедии неизмеримо лучше, чем их представлял себе Оруэлл. Исторические обобщения вообще не являлись сильной стороной его книг. Их притягательность в другом: в свободе от иллюзий, когда дело касается реального положения вещей, в отказе от казуистических оправданий того, чему оправдания быть не может, в способности назвать диктатуру Вождя диктатурой (или, пользуясь излюбленным словом Оруэлла, тоталитаризмом), а совершенную сталинизмом расправу над революцией — расправой и предательством, сколько бы ни трубили о подлинном торжестве революционного идеала.

Эту силу Оруэлла хорошо чувствовали его антагонисты, от-

того и предъявляя ему обвинения самые немислимые, вплоть до оплаченного пособничества реакции. Тягостно перечитывать теперь писавшееся об Оруэлле английской левой критикой при его жизни. Это не анализ, это кампания с целью уничтожения — вроде той, что выпало пережить Ахматовой и Зощенко (недавно Оруэлл комментировал ныне отмененное постановление 1946 года с нечастой на Западе проницательностью: дал себя знать собственный опыт).

Однако исторически такая нетерпимость вполне объяснима. В левых кругах Запада долгое время предосудительной, если не прямо преступной считалась сама попытка дискутировать о сути происходящего в Советском Союзе. Внедренная сталинизмом система была бездумно признана образцом социалистического мироустройства. СССР воспринимали как форпост мировой революции. Из западного далека не смущали ни ужасы коллективизации с ее миллионами спецпереселенцев и умирающих от голода, ни внесудебные приговоры политическим противникам Вождя или всего лишь заподозренным в недостаточной преданности и слишком сдержанном энтузиазме.

Всему этому тут же находилось объяснение в якобы обостряющейся классовой борьбе и злодейских замыслах империализма, в закономерностях исторического процесса, проклятом наследии русского прошлого, косности мужицкой психологии — в чем угодно, только не в природе сталинизма. За редчайшим исключением, левые западные интеллектуалы либо не увидели, что сталинизм есть преступление против революции и народа, либо, увидев, молчали, полагая, будто к молчанию обязывает их верность заветам Октября и атмосфера неуклонно приближающейся мировой войны.

Советско-германский пакт 1939 года основательно пошатнул безусловную — «вопреки всему» — веру в СССР, как и подобное понимание идейного долга, и лишь после этого Оруэлл смог напечатать книгу «Памяти Каталонии», а затем несколько статей, имеющих для него характер манифеста. Возвращаясь к ним в наши дни, нельзя не оценить главного: суть сталинской системы как авторитарного режима, который и в целом, и в конкретных проявлениях враждебен коренным принципам демократии, понята Оруэллом с точностью, для того времени едва ли не уникальной. С Оруэллом не только можно, а часто необходимо спорить, когда он доказывает неизбежность именно такого развития российской государственности после 1917 года, настаивая, что альтернативы не существовало. Беспристрастное и внимательное чтение последних ленинских работ, возможно, сумело бы его убедить, что на самом деле альтернатива была, как была предугазана в этих работах и опасность перерождения советской республики в термидорианскую диктатуру, к несчастью, ставшую реальностью. С наследием Ленина и вообще с марксистской классикой Оруэлл, видимо, был знаком весьма поверхностно, зная лишь того перетолкованного, усеченного, превращенного в цитатник на нужные случаи Ленина, который был разрешен в 30-е и 40-е годы. Слабости социалистического

образования, самодеятельно приобретенного Оруэллом, наглядны во многих его статьях.

И сами его представления о коммунизме, конечно, очень приблизительны, чтобы не сказать необъективны. Напрасно предполагать в этой необъективности некий умысел, все было и проще, и драматичнее. Коммунизм Оруэлл отождествлял со сталинской диктатурой, стремясь спасти от ее тлетворного влияния ту идею социализма как демократии, которую пронес через всю жизнь. Памятуя о духовных истоках Оруэлла, о его жизненном пути, а главное, о реальной исторической ситуации 30—40-х годов, это ложное отождествление можно понять и объяснить, но согласиться с ним нельзя. Собственно, не позволяет этого сделать сам Оруэлл, раз за разом оказывающийся уж слишком не в ладах с истиной, когда он судит о конкретных фактах советской действительности, полагая, что все это — прямое следствие коммунистической доктрины. Он даже и не пытается как-то аргументировать такие свои суждения, как бы сознавая их шаткость. Мы читаем у него, будто целью большевиков изначально была та «военная деспотия», которая восторжествовала при Сталине, но против такого заявления восстает реальная история, если смотреть на нее с должной непредвзятостью. Мы читаем у Оруэлла, будто в годы войны массы советских граждан перешли на сторону врага, но есть ли необходимость доказывать, что это лишь рассказы недоброжелателей. И таких примеров можно привести немало. Причем механизм ошибки тут всегда один и тот же: данность — сталинская система — истолкована как единственно возможный исторический итог процесса, начавшегося в 1917 году, и эта данность отвергается с порога, без должной аналитичности, без попытки неспешно, основательно разобраться в сложной диалектике причин и следствий. Вот коренной изъян многого, что им написано о советском историческом опыте.

Однако хотя бы отчасти этот изъян компенсировался той недогматичностью мышления, которую Оруэлл годами воспитывал в себе, справедливо полагая ее первым условием свободы. У него был острый глаз. С юности в нем пробудился тот многожды осмеянный здравый смысл, который оказывался по-своему незаменимым средством, чтобы распознать горькие истины за всеми теориями, построенными на лжи «во спасение», за всей патетикой, кабинетной ученостью и неискушенной романтикой, в совокупности создававшими образ светлых московских просторов, не имевший и отдаленного сходства с действительностью сталинского времени.

* * *

Тот образ, который возникает у Оруэлла, нелестен, подчас даже жесток, но у него есть достоинство решающее — он достоверен в главном.

Поэтому, читая эссеистику Оруэлла, как и его притчи, мы